

**Мир Александра Каждана. К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А.А. Чекалова. СПб.: Алетейя, 2003. 623 с.**

Читая рецензируемую книгу, я не мог избавиться от ощущения, что ее составитель и ответственный редактор А.А. Чекалова сверяет с юбилеем Александра Петровича Каждана современное состояние византиноведения – и прежде всего российского. Сверяет с глубиной, многогранностью, духом, стилем жизни и исследований ученого.

На Каждана ссылались и будут ссылаться. Каждан – один из крупнейших авторитетов последних пятидесяти лет в познании истории Византии и пограничных с ней регионов. Нередко мнение Каждана бывало весомым аргументом “за” или “против” той или иной концептуальной схемы, признаваемой или отвергаемой в отечественной историографии. К нему апеллируют сторонники “сопоставительного изучения” социальных и культурных явлений средневековья, ревнители квантитативно-просопографических описаний, поборники микроистории (в духе Б. Лепти и Ж. Ревеля) и приверженцы конкретно-политического факта, извлеченного от конъюнктурных и нередко имманентно присущих какому-либо виду источников наслоений. На его глубокие аналитические замечания, содержащиеся в соответствующих многочисленных рецензиях и обзорах, равняются многие из составителей научных изданий, многожанровых по форме и весьма сложных по содержанию.

Именно такой сложной по форме и содержанию является и книга “Мир Александра Каждана”. Практически все ее разделы подчинены, как мне кажется, главной цели: как можно ярче осветить многогранную личность ученого. Авторство очерков в мемуарной части принадлежит преимущественно друзьям и коллегам Каждана. Многоплановый очерк С.О. Шмидта “Самый талантливый с нашего курса” представляет собой пример глубокого исследования, находящегося в зоне не расчленимого взаимопроникновения яркой мемуаристики и тонкого историко-антропологического анализа и максимально полно раскрывающего образ выдающегося византиниста, высокоодаренного, духовно богатого человека.

Той же цели служат и включение в рецензируемую книгу эпистолярной части (с. 413–485) и четырех давно опубликованных работ Каждана, адресованных не столько специалистам, сколько вообще гуманитарно сведущему читателю (с. 486–537)<sup>1</sup>. Эти разделы, на мой взгляд, гораздо лучше способствуют пониманию феномена этого ученого и разрушению мифов о нем, присутствующих в современном российском византиноведении, чем многочисленные интерпретации его наследия в научной литературе.

Оригинальность композиции рассматриваемого сборника проявляется уже в том, что его предваряют два предисловия, посвященных памяти Каждана: проникновенные слова Г.Г. Литаврина и И.И. Шевченко, воплощающие в себе черты энкомия и треноса одновременно, как назвал свои строки первый из них (с. 7). И точно так же, как это было присуще обоим названным высоким жанрам византийской словесности, в каждом из предисловий проявилась торжественно-грустная мемуаристика. Отсюда плавность, органичность перехода к первой крупной части книги, выполненной в духе *ad memorem*. В воспоминаниях об Александре Петровиче, которыми делятся такие его друзья и коллеги, как С.О. Шмидт, И.К. Эльдарова, А.-М. Толбот, М.В. Бибииков, М.С. Альперович и М.А. Поляковская, звучат теплые, преис-

<sup>1</sup> Особо отмечу важность для будущих исследователей “мира Каждана” републикацию его статей “Трудный путь в Византию” и “О работе историка: путь исследования” (с. 486–515). Первую из них, кстати говоря, своеобразно дополняют ирония и юмор “автобиографического письма” к Э.Н. Хрущевой (возможно, первой из подобных исследователей) от 8 мая 1992 г. (см.: Из писем А.П. Каждана // Поляковская М.А. Византия, византийцы, византилисты. Екатеринбург, 2003. С. 335–340). Определенным дополнением к ряду разделов второго очерка может служить статья: Каждан А.П. Конспект или картотека? (О работе историка) // Наука и жизнь. 1970. № 6. С. 65–67.

полненные грусти ноты; авторы сообщают много неизвестных подробностей, относящихся к личным качествам Каждана, о его неординарных поступках, интересных мыслях, которые, безусловно, сами по себе станут ценнейшим источником для будущих исследователей жизни и творчества выдающегося ученого. Но дело не только в этом. Мемуарный раздел книги, написанный, как говорил сам Каждан, людьми “нашего круга” (с. 456), да и вся она в целом, убедительно свидетельствуют о том, что внутренний мир ученого являл собой редкое, предельно органичное и неразрывное сочетание профессионализма историка с цельюностью его человеческой и гражданской натуры. В этой демонстрации, на мой взгляд, состоит крупная заслуга составителей сборника. Сложная мозаика идей Александра Петровича и черт его характера вместе с запечатленными в мемуарах конкретными его откликами на вызовы времени позволяет избежать схематизации его наследия (не только сугубо византиноведческого), сочетающего ценности и понятия, за которыми в современном идеологическом и научном поиске преобладают пока только историографические обозначения.

Следует отметить, что весьма квалифицированно выполненная М.А. Курышевой библиография трудов Каждана (с. 538–617), безусловно, может стать отправной точкой для тех, кто профессионально займется изучением не только научного, но и вообще жизненного пути ученого.

Я присоединяюсь к мнению тех, кто полагает, что для понимания творчества любого ученого очень важен учет его человеческих качеств<sup>2</sup>. В книге по этому поводу сказано немало, но для выразительности портрета Каждана представляются особо значимыми следующие слова его друга, известного латиноамериканиста М.С. Альперовича: “Отличительными чертами А.П. являлись, на мой взгляд, цельность натуры, принципиальность, глубокая внутренняя порядочность, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, привязанность к семье, преданность друзьям и доброжелательность по отношению к ним, обязательность, аккуратность и пунктуальность, неуклонное соблюдение установленного режима работы и всего жизненного распорядка, спокойствие и выдержка в общении, терпимость к чужому мнению, сдержанность в проявлении своих чувств, немногословие” (с. 114). В мемуарной части книги и в эпистолярном ее разделе содержится масса конкретных примеров, подтверждающих эти слова. На основании подобных фактов будущие авторы научных биографий Каждана и исследователи его трудов могут представить себе не только развитие взглядов историка-профессионала высочайшего класса, но и перипетии жизненного пути многогранного, сложного и яркого человека.

“Мир Александра Каждана” был выразителен и далеко не прост. Проникнуть в него позволяют письма исследователя, которые, как справедливо замечено, были для него “важным средством самовыражения” (с. 413). Но в дополнение к бесспорному тезису об их важности для восстановления данных его биографии, литературного дара, всей полноты научной лаборатории ученого (благодаря этим посланиям сохранились сотни, и многие бережно хранятся адресатами или их близкими) можно сказать, что каждое письмо Александра Петровича – талантливое произведение. И, как демонстрирует публикация, эпистолярный этот – весьма многожанровое явление. Здесь и глубокие научные рассуждения (иногда конспекты статей или краткое, но меткое изложение сути диссертаций и монографий), и, естественно, полемика, и описание быта и настроений, лирические пассажи, отчеты о текущей деятельности, о поездках; серьезный текст органично способен переходить в юмор, даже по поводу собственных трудностей адаптации к эмигрантской жизни и проблем после адаптации. Будучи уже “видным американским византинистом” (с. 434), Каждан мог писать о себе, органично смешивая мажорные и минорные оценки и в то же время жестко и трезво анализируя ситуацию<sup>3</sup>. Как

<sup>2</sup> Сошлюсь в связи с этим на выразительное высказывание А.Я. Гуревича: “Когда я читаю интересное исследование, мне важны не только методы работы, постановка вопроса, выводы автора. Все время возникает вопрос, который на первый взгляд может показаться irrelevantным, но на самом деле он очень даже релевантен к содержанию работы: какова личность того человека, который выражает свой взгляд на исторический процесс, пересматривает существующие точки зрения или повторяет прежние, какое преломление получает все это в личности данного индивида?” (История историка. М., 2004. С. 147).

<sup>3</sup> См., например: “Этого у меня в Америке нет – аудитории, которая понимает. Мне кажется, что я живу в атмосфере непонимания, говорю на чужом языке (хотя и по-английски). Меня уважают, но не понимают. И это грустно. Придет – после похорон” (из письма к Е.С. Померанцевой от 11 января 1997 г. – с. 484).

известно, существуют разные мнения на сокровенное в творчестве выдающихся людей. Сами они тоже по-разному относились и относятся к этой проблеме. Б.Ф. Егоров, публикуя письма Ю.М. Лотмана, заявлял, что ему близок идеал философа “общего дела” Н.Ф. Федорова, считавшего, что нужно сохранять для потомков каждую бумажку с любым текстом; потомки сами выберут необходимое из максимально сохраненного материала<sup>4</sup>. Мне представляется, что авторы рецензируемого сборника исходят также из принципа необходимости знать все, что можно о людях прошлого; другое дело, что пока живы те, о ком автор писем мог выразиться отнюдь не в розовых тонах, следует воздерживаться от полной публикации соответствующего текста.

И.К. Эльдарова, являясь по сути весьма значимым соавтором “Мира Александра Каждана”, помещает в мемуарной части книги не только интереснейший очерк “Памяти друга (письма студента А.П. Каждана военных лет)”, в котором содержатся и выдержки из эпистолярия будущего византиниста, но и ряд полных писем декабря 1941 г. – сентября 1942 г. (с. 52–68). В разделе “Эпистолярное наследие А.П. Каждана” имеются пять далеко не равных по объему комплектов писем ученого, относящихся к эмигрантскому периоду его жизни, – письма к М.А. Заборову, Г.Г. Литаврину, К.М. Альперовичу, М.А. Поляковской, Е.С. Померанцевой. В соответствии с упомянутым выше принципом этики, ряд писем представлен не в полном виде. Один из комплектов (письма к М.А. Заборову) имеет особую внутреннюю структуру, содержащую четыре группы посланий, основное содержание которых укладывается в рамках соответствующей проблемы: первые месяцы эмиграции; “что потерял и что приобрел” (слова самого Каждана); пропаганда за рубежом отечественной византистики; начало работы над изданием “The Oxford Dictionary of Byzantium”<sup>5</sup>.

Все эти письма – очевидно, самое захватывающее чтение из материалов сборника. В том числе и для тех, кто хорошо знал Александра Петровича, мало того, состоял с ним в переписке, но был, естественно, лишен возможности насладиться чтением его строк, предназначенных для кого-то другого. Очень отраднo, что увидевшая свет несколько раньше публикация других писем Каждана, осуществленная М.А. Поляковской в соответствии с тем же вышеназванным принципом, прекрасно дополняет работу И.К. Эльдаровой<sup>6</sup>. Почти синхронное появление этих изданий говорит о том, что высокая оценка значимости такого рода материала одинакова у разных групп российских византистов, – идеи носятся в воздухе.

В данной связи следует сказать, что опубликованная в рассматриваемой книге мемуарно-исследовательская статья М.А. Поляковской “Из истории отечественной византистики: М.Я. Сюзюмов и А.П. Каждан (по материалам эпистолярия)” содержит текст еще трех писем Александра Петровича – главе уральской школы византиноведения. Два из них – полемического содержания, традиционного для переписки двух глубоко уважающих друг друга великих знатоков истории Восточного Рима. В целом статья, конечно же, посвящена в основном характеру и нюансам подобных споров и сюжетно предваряет очерк Э.Н. Хрущевой, который будет рассмотрен ниже. Что касается оценки Кажданом личности Сюзюмова и общности их научных устремлений, то здесь, прежде всего, важными представляются следующие слова из его письма к Поляковской: “Мне кажется, что только Мих. Як. и я вынесли в свет во второй половине XX в. целостные концепции Византии” (с. 78)<sup>7</sup>.

Наиболее объемный в рассматриваемом сборнике раздел, представленный научными статьями друзей и коллег Каждана, на мой взгляд, с наибольшей полнотой демонстрирует попытку упомянутой выше “сверки” состояния российского византиноведения (и не только) с наследием юбиляра. Поэтому данной части книги стоит уделить особое внимание.

Как дань воспоминаниям о первоначальных, социально-экономических штудиях Каждана, характерных для большинства византистов 1950-х годов (но штудиях, от которых, как справедливо отмечает Я.Н. Любарский, Александр Петрович окончательно не отворачивался никогда, – с. 281), можно рассматривать статьи Г.Г. Литаврина и А.И. Романчук. Литаврин воспроизводит ряд положений своего неопубликованного доклада, прочитанного в апреле 1995 г. в Дамбартон Оуксе. (В обсуждении доклада принял участие и Каждан – факт, подтверждающий только что отмеченный тезис Любарского.) Речь идет об актуальнейшей для

<sup>4</sup> Егоров Б.Ф. О письмах Ю.М. Лотмана // *Лотман Ю.М. Письма. 1940–1993*. М., 1997. С. 8.

<sup>5</sup> Данный эпистолярный цикл великолепно дополняет воспоминания М.-А. Толбот о совместной работе с Кажданом над ODB (с. 84–92).

<sup>6</sup> Поляковская М.А. Византия, византийцы, византилисты. С. 324–406.

<sup>7</sup> Ср.: Из писем А.П. Каждана. С. 402.

византийского государства X–XII вв. проблеме обращения с основным имперским богатством – землей (которая, как затвердил в качестве аксиомы еще Юстиниан I, должна приносить постоянный доход казне), но с землей заброшенной, которую государство всеми силами пытается вновь запустить в хозяйственный оборот. Вновь демонстрируется поистине детективная работа исследователя с соответствующим актовым материалом (конечно, в первую очередь с хрисовулом 1082 г., фиксирующем ситуацию с класмой, полученной в свое время Львом Кефалой), изощренная методика расчетов способов взимания налога с подобных класм (особенно это касается вычислений параколуфемата на базовый димосий, в чем автор полемизирует с Н. Икономидисом), взгляды на сопрягаемость получаемых таким образом данных с инструкциями для чиновников фиска (прежде всего с “трактатом Дэльгера” и “трактатом Караяннопулоса”). В заключении статьи автор соглашается с мнением Каждана о необходимости объединения усилий историков и правоведов в изучении собственности в империи X–XII вв., что поможет решить и вопросы, задаваемые исследователям класм (с. 131).

К одной из традиционных проблем византийской (и не только византийской) археологии – характеру методики использования данных нумизматики при изучении города “темных веков” – обращается А.И. Романчук. Она не отступает от уже ранее высказанного ею тезиса о некорректности связи между степенью обилия монет в археологических слоях города и однозначностью оценки его экономики (много монет, значит, город процветал – и наоборот), убедительно привлекая в подтверждение и соответствующие наблюдения В.В. Кропоткина (с. 135–136). Отмечу, что в свое время Каждан как раз отличал именно насыщенную историзмом методику Кропоткина в исследовании византийской монетной системы, отчасти противопоставляя ее методике В. Хана<sup>8</sup>. И если Романчук полемизирует по поводу своего основного тезиса прежде всего с Кажданом, ссылаясь на его работы второй половины 1950-х годов, то я обратил бы внимание на то, что в своей рецензии на известный труд М. Хенди<sup>9</sup> Александр Петрович уже не проводит прямой зависимости между уровнем экономики города и насыщенностью монетами его археологических слоев, а акцентирует внимание на проблеме качества монеты как показателя урбанизации, на характере укрепления монетной системы, например, при Комнинах (о чем писала и Э. Арвейлер). Абсолютно отсутствует тезис об отмеченной взаимозависимости и в работе Каждана 1986 г. “Монета и общество”<sup>10</sup> (ср. его письмо М.А. Заборову от 2 июля 1979 г. – с. 424).

Небольшая, но весьма выразительная статья В.Г. Ченцовой “Замечание по поводу взглядов Георгия Гемиста Плифона на торговлю”, по сути дела, примыкает к выводам, сделанным Романчук, и наглядно свидетельствует, что известные рекомендации морейского интеллектуала относительно упорядочения налогообложения (подати следует взимать натурой) вряд ли следует однозначно толковать как свидетельство свертывания товарно-денежных отношений и натурализации экономики поздней Византии (в этом автор солидаризируется с тем же М. Хенди). Полемизируя, как и Романчук, с тезисами Каждана начала 1950-х годов и отношением К.В. Хвостовой к соответствующим высказываниям Плифона, исследовательница, имея базой анализ пассажиров морейца по поводу “плохой иноземной монеты”, пригодности “любимой монеты” для существующего обмена, взимания налогов как натурой, так и деньгами и т.п. (с. 190–193), объективно дополняет наблюдения екатеринбургского археолога над данными нумизматики как источником по степени натурализации экономики.

В значительной мере к социально-экономической тематике, рассматриваемой через призму взглядов Каждана, принадлежит и одно из принципиальных наблюдений, сделанных Э.Н. Хрущевой в работе “Каждан как полемист”, – относительно развития взглядов ученого в рамках известной дискуссии между “континуитетчиками” и “дисконтинуитетчиками”. Констатируя, что окончательное оформление концепции дисконтинуитета и ее развернутой аргументации происходит в эмиграционный период жизни исследователя, Хрущева показывает, что Каждан приходит к выводу об отсутствии победителей в данном споре прежде всего на основе глубокого историографического анализа, уровень которого (заметно отличный от преимущественно атакующего полемического метода ученого в 1950–1960-е годы) продиктован прежде всего стремлением разобраться в логике оппонента и в самой проблеме (с. 295–296). Автор справедливо обратила внимание на то, что Каждан разглядел разницу в

<sup>8</sup> ВВ. 1978. Т. 39. С. 260–261.

<sup>9</sup> ВВ. 1972. Т. 33. С. 239–241.

<sup>10</sup> *Kazhdan A. Moneta e società // La cultura bizantina: Oggetti e messaggio. Moneta ed economia / Ed. A. Guillou, P. Odorico, M. Olivier. Rome, 1986. P. 205–236.*

объектах аргументации, используемой участниками дискуссии: если приверженцы теории континуитета анализировали прежде всего внешние сугубо византийские явления (сохранение централизованной бюрократии, норм римского права, функций города и т.п.), то оппоненты отмечали структурные трансформации (изменение типов собственности, социальной структуры, системы мировоззренческих ценностей). Наряду с этим в статье Хрущевой последовательно демонстрируется очень важный момент: возрастание терпимости к иной точке зрения как свидетельство роста уровня исследовательского мастерства Каждана и углубления его внимания к развитию культуры, социопсихологии и мировидения византийцев. И хотя схема складывания полемической позиции Александра Петровича, конструируемая Хрущевой (с. 294 сл.), не представляется мне оригинальной (т.е. присущей только ему, вспомним становление очень похожей логики работ такого его учителя, как Е.А. Косминский<sup>11</sup>; ср. с. 488, 490–491), но сопряжение данной позиции с проникновением в суть предмета исследования, а также с усовершенствованием методики, многое позволяет понять в “мире Каждана”.

Похожий вопрос оказывается одним из анализируемых и в великолепном очерке Я.Н. Любарского “Александр Каждан – историк византийской литературы”. Естественно, что Яков Николаевич, тонкий знаток византийской словесности, ученик и друг Каждана, сосредоточил здесь внимание на самом актуальном: эволюции интересов ученого, углублении его внимания к развитию культуры, социопсихологии и миропонимания византийцев, усложнении методики исследования от достаточно традиционного для конца 1950-х годов анализа социальных воззрений византийского интеллектуала (в данном случае патриарха Фотия) до глубокого комплексного подхода к развитию византийской литературы как живой ткани, где авторы-творцы – сугубо индивидуальны (вне зависимости от жанра, в котором работают), а определяющая роль принадлежит открывателям новых путей и форм художественного освоения действительности. Подкупает искусство Любарского в показе органичности прихода Каждана не просто к высотам новых, порой неожиданных методик в анализе творческого своеобразие византийских писателей (Евстафия Солунского, Никиты Хониата и многих иных), но к замыслу создания истории византийской литературы именно как к истории сменных форм и способов словесной художественности. Смерть, как известно, помешала исследователю завершить эту грандиозную работу, которую он считал своей лебединой песней (с. I), но даже частично реализованный результат ее, по мысли Г.Г. Литаврина, должен стать “настойной книгой каждого византиниста, подобно работам таких классиков византиноведения, как К. Крумбахер и Г.-Г. Бэк” (с. 7). Я.Н. Любарский же завершает свой очерк лаконичным вопросом: “Как скоро найдется отважный продолжатель дела А.П. Каждана?” (с. 291).

Конечно, определенный ответ на этот вопрос можно усматривать в замечании И.И. Шевченко: “...it is the duty of his survivors to deliberate about its fate” (с. 9). Однако инициаторы рецензируемого сборника ни в редакционной статье, ни в мемуарных очерках, ни в научных публикациях категорического суждения по данному поводу не высказывают. Более того, собственно истории византийской литературы (точнее одного ее узкого, хотя и весьма интересного сюжета) касается лишь одна статья книги. И. Рохов через анализ жития Евфросиньи Юницы, составленного Никифором Каллистом Ксанфопулом, с привлечением энкомия ей Константина Акрополита, устанавливает время существования в Византии мотива женского трансвестизма (подвижница надевает мужскую одежду для пребывания в мужском монастыре), – сюжета, к которому обращался при изучении византийской агиографии и Каждан. В принципе автор соглашается с Кажданом (и с Э. Патлажан): указанный мотив исчезает после IX в. (возможно – только после X столетия), когда в империи меняются взгляды на женщину и на брак (с. 260, 271), но указывает на неопределенность решения вопроса о причинах составления жития в XIV в.

Трактуя узкий сюжет, Рохов, естественно, стремится рассмотреть его в широком контексте отражения в источниках складывания в Византии указанного типа трансвеститской практики. Его наблюдения за конкретными ее проявлениями очень близки к некоторым прие-

<sup>11</sup> Ср.: Гутнова Е.В. Евгений Алексеевич Косминский (1886–1959) // Портреты историков: Время и судьбы. М.; Иерусалим, 2000. Т. 2. Всеобщая история. С. 328. О возможностях изысканий в сфере методики Е.А. Косминского можно судить на основании материалов его личного архива. См.: Ржевникова М.Я. Обзор личного архива академика Е.А. Косминского // Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972. С. 328.

мам последователей “Анналов”, например, Ж. Дюби, о работе которого “Дамы XII в.” пишет Ю.Л. Бессмертный, отмечая смещение исследовательского внимания с “положения женщины” на анализ возможностей, открывавшихся в известные периоды средневековья перед той или иной представительницей прекрасного пола (с. 318–319). Учитывая, что Каждан в развитии своей методики постепенно становился в определенной степени приверженцем школы “Анналов”, творчески развивал ее установки (с. 290), публикация в сборнике, посвященном его памяти, статьи Бессмертного “Микроистория и ее проблемы во Франции 90-х годов” – безусловная удача. Статья примыкает к циклу подобных глубоко аналитических работ, опубликованных Юрием Львовичем в его “Казусе”, в “Одиссее” и в ряде иных альманахов и сборников, – работ, созданных в сложнейшем по тематике пограничье методологии и историографии. От доказательства весьма важного тезиса о приверженности адептов микроистории к определенной теоретической “парадигме” (пример тому – мысль о необходимости изучения смысла и способов поведения индивида в конкретно-исторической ситуации, для которой всегда характерна дискретность существующей общественной системы) автор логично переходит к принципиальному тезису – о важности прежде всего функции микроанализа. Тезис этот иллюстрируется примерами наиболее характерных историографических нюансов, выросших на почве французской медиевистики и испытывающих влияние достижений различных исторических школ “новой социальной истории” и известных социологических штудий (в частности Эмиля Дюркгейма). Я полагаю, однако, что для раскрытия основных идей, положенных в основу реконструкции “мира Каждана”, важнее всего резюмирующие соображения Бессмертного относительно сути микроистории как ракурса исторического познания. Для этого ракурса характерно особое внимание к индивидуальным чертам исторических феноменов и к уникальности в помыслах и действиях исторических персонажей (с. 322). Но не такой ли подход можно уловить и в изучении Кажданом творчества византийских литераторов?

Совершенно особое место в сборнике занимает великолепная статья О.С. Поповой “Греческая иллюстрированная рукопись второй четверти XIV века из Венской национальной библиотеки (theol. gr. 300)”. При сравнении прежде всего миниатюр Венского кодекса (содержащего четыре Евангелия, Деяния и Послания апостолов) с миниатюрами Синодального кодекса греч. 407 (обе рукописи-книги имеют немало сходства и относятся к XIV в.) автор, проявляя, как всегда, незаурядную наблюдательность искусствоведа-историка, соотносит появление новых черт стиля художников-оформителей с поиском ими новых выразительных средств для передачи весьма эмоциональных настроений, характерных для Византии 30–40-х годов XIV столетия. Иными словами, Ольга Сигизмундовна вновь демонстрирует подходы и методику, которую так ценил в культурологах и историках искусства Каждан, – стремление увидеть человечески индивидуальное, окрашенное конкретными свойствами времени (а не только данью традиции). Жаль только, что приведенные в качестве иллюстраций к статье фото миниатюр из Венского кодекса, изображающих евангелистов, даны в черно-белом варианте.

Что касается внимания к деяниям и судьбам некоторых конкретных персон византийской исторической сцены, то рецензируемый сборник демонстрирует целый каскад таких сюжетов, весьма, впрочем, различающихся методикой анализа и даже глубиной проникновения в поставленную проблему. Как мне представляется, очерк П. Баденаса де ла Пеньи о формах примиренчества греческих интеллектуалов XV в. с османским двором (на примере творчества Плифона, Георгия Амирутци, Георгия Трапезундского и Критовула), несмотря на последовательность попытки соединить позиции его героев с известными философскими тезисами той трагичной эпохи (с. 272–280), более близок к облегченному справочнику на заданную тему, нежели к статье с основательным разбором источников. Причем, к справочнику весьма неполному хотя бы потому, например, что работы российских византистов, обращающихся к аналогичным вопросам при изучении мировидения византийцев XIV–XV вв., Баденасом (судя по его ссылкам) явно не изучались.

Классическим воплощением виртуозного владения методом описательно-аналитической просопографии является, на мой взгляд, статья А.А. Чекаловой “Образ византийской аристократки конца V – начала VI в. (Юлиана Аниция и ее эвргетическая деятельность)”. Исследовательница в некоторой степени отходит от характерных для ее творчества социальных штудий с использованием подобного метода<sup>12</sup> и создает яркий портрет знатной дамы, весьма незаурядной и известной не только в Византии, но и на варварском Западе времен Анастасия и Юстина I. Для написания портрета Юлианы используется синтез аналитической фактоло-

<sup>12</sup> См., например: Чекалова А.А. Сенаторская знать ранней Византии. М., 2000.

гии, разбора иконографии героини и даже романтической, с изрядными элементами легенды, традиции (донесенной в частности Григорием Турским), к ней относящейся.

Обращает на себя внимание, что в цикле “персоналистских” сюжетов, к которым относятся статьи Баденаса и Чесаловой, есть и такие, которые могут откровенно претендовать на увлекательный детектив.

Героем статьи Р.М. Шукурова стал Давид, один из создателей Трапезундской державы Великих Комнинов, судьба которого в отличие от судьбы Юлианы Аниции несравненно хуже отражена источниками. Формулируя “загадку Давида” (термин, ставший названием статьи, откровенно принят автором по аналогии со знаменитой каждановской “Загадкой Комнинов”) – почему его имя окружено “загадочным и многозначительным молчанием”? (с. 229) – Шукуров (путем тонких сопоставлений нюансов международных и династических ситуаций в Малой Азии) создает гипотезу о своеобразном государственном перевороте, сопровождавшем борьбу Ласкарисов и никейцев за Пафлагонию и Вифинию в конце первой – начале второй декады XIII в., – перевороте, приведшем Давида в Ватопедский монастырь. Одним из следствий этого переворота, по предположению Шукурова, могло стать отсутствие поддержки Алексея I Великого Комнина со стороны пафлагонцев, которое и привело к поражению последнего от сельджуков в 1214 г. и переходу владений понтийских греков к никейцам.

Цель, похожую на ту, которую поставил для себя Шукуров, поставил и Д.Е. Афиногенов: “Хотя бы немного уменьшить количество всевозможной фантастики в наших представлениях о заговоре 820 г., его причинах и предыстории” (с. 194). Более развернуто, в сравнении с “Загадкой Давида”, и название исследования, “Что погубило императора Льва Армянина? (История и мифы)”. “Разбор информационных завалов” (термин автора), а проще говоря, дотошные попытки отделить с трудом просматриваемые в отношении данного сюжета исторические факты от литературных (в изобилии преподнесенных прежде всего Генесием), приводят Афиногенова к выводу, казалось бы, predetermined: Лев погиб из-за крупных просчетов во внутренней политике, оттолкнувших от него даже бывших соратников (с. 222). Важнее другое: Афиногенов, как мне кажется, доказал, что упомянутые литературные построения о “жутком заговоре” – отражение пропаганды, затейной в интересах кланов, отесненных от государственного кормила Михаилом II.

Приемы, используемые Шукуровым для анализа международных отношений в условиях малоазийской “многополярной” системы, а также элементы просопографических изысканий присущи в известной мере и статье В.П. Степаненко “Армяне в Византии XI в. в свете новых данных сигиллографии”. Автор, подчеркнув, что просопография родов армянского происхождения в Византии была поставлена на строго научную основу именно А.П. Кажданом (с. 174), подобно Ж.-К. Шене, Ж.-Ф. Ванье, И. Иорданову и В. Зайбту уточняет (на базе прежде всего новейших каталогов моливдовулов) служебную карьеру ряда представителей таких кланов, как Врахамии, Алуханы, Сенахеримы, Аршакиды, Пакурианы и др. Касается он и такой традиционно тонкой и спорной материи, как этническое происхождение некоторых из указанных родов (например, Пакурианы характеризуются как армяне по происхождению), хотя оговаривает, что этническая атрибуция той или иной фамилии на основе сигиллографии не всегда успешна (эта особенность печатей в качестве источника выявлена, впрочем, уже давно).

К восточной проблематике относится и содержание работы В.А. Арутюновой-Фиданян “Себеос об Ираклии”. Об “Истории” Себеоса и об императоре Ираклии написано немало, но рассмотрение отмеченного сюжета с позиций парадигмы императорского идеала (которой плодотворно занимался в том числе и Каждан), да еще с попыткой сравнения развития подобных парадигм в Византии и Армении (с. 157) я наблюдаю впервые. Последовательно разбирая фиксируемый Себеосом набор позитивных качеств Ираклия, исследовательница отмечает, что в отличие от Византии, где благородство происхождения и рыцарская доблесть правителя стали получать приоритет в системе ценностей в середине XI в., в Армении идеал царя-воина, являвшегося к тому же царем легитимным, засвидетельствован уже в V в. Мне, однако, кажется, что “изюминка” проблемы не только в засвидетельствовании источниками определенного набора качеств правителя (в Римской империи признаки идеала императора-воина, законно обладающего троном, можно видеть уже в *Scriptores Historiae Augustae*<sup>13</sup>).

<sup>13</sup> См.: *Straub J. Studien zur Historia Augusta*. Bern, 1952. S. 95, 146–147; *Hohl E. Über das Problem der Historia Augusta* // *Wiener Studien*. 1958. T. 71. S. 138; *Syme R. Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta*. Oxford, 1971. P. 256 sqq.

Важно, какие функции присущи этим качествам в контексте системы мировидения, характерного для известных социальных и политических групп (или для тех, или иных авторов). Если идеал василевса-воина и царя-аристократа сопряжен, например, с определенными установками ойкуменической доктрины, то претензии Ираклия на те или иные земли в пику арабам в контексте взглядов Себеоса имеют, наверное, иную подоснову, нежели в видении Феофилакта Симокатты или Феофана.

Галерея представленных в книге исторических персоналий завершается фигурой Помпея Страбона, деятельность которого во время борьбы между сулланцами и марианцами анализирует А.В. Короленков. Во многом постановка вопросов в этой статье и методика поиска ответов на них сходна с работой Р.М. Шукурова – с той разницей, что серьезной историографической “загадки” своего героя автор не конструирует. Разбирая причины возникновения политического вакуума, возникшего вокруг видного полководца в начале усобицы, и пытаясь – что еще интереснее – определить его место среди видных современников, Короленков не избегает даже обычно избегаемого специалистами сослагательного наклонения в формулировке мысли: могла ли иначе сложиться карьера Помпея? (с. 340). Прямого ответа на это автор не дает, хотя скрупулезный разбор фактов, продемонстрированный в статье, делает весьма убедительным вывод о месте ее героя «между “радикалами” вроде Мария и Суллы, с одной стороны, и консерваторами наподобие Октавия и Сцевола, – с другой» (с. 354). Смею, таким образом, предположить, что карьера Страбона в обстановке подобной смуты действительно могла сложиться иначе. Приходит на память судьба Цицерона после первых его успехов в борьбе с надвигающимся авторитаризмом, как ее метко характеризует Каждан (очень уместно помещение в сборник его рецензии на монографию С.Л. Утченко “Кризис и падение Римской республики”): “Цепь ошибок и поражений, детских просчетов, неверных решений, отчаянных предсмертных метаний...” (с. 520). Помпей Страбон далеко не Цицерон и мало похож на него как по политическим ориентациям, так и по высоте духовного склада; он, мягко говоря, и не борец с диктатурой, но сходство его с Марком Туллем я вижу в том, что находящиеся “посредине” в таких ситуациях слишком зависят от случайных факторов.

В цикл “персональных статей”, представленных в сборнике, входит и очерк М.М. Фрейденберга “Эндрю Шарф – византинист из Бар-Илана”. Специалистам Э. Шарф известен прежде всего как автор монографии “Византийское еврейство от Юстиниана до Четвертого крестового похода”, но Фрейденберг в первую очередь раскрывает многообразие интересов (в том числе и источниковедческих) этого незаурядного исследователя, трудившегося “на стыке византистики и иудаистики” (с. 303). В данном плане очерк во многом носит справочный характер. Жаль, что за его пределами остался разбор развития методик Э. Шарфа. Неясно также, имели ли место в творчестве ученого новации в подходах к исследованию места евреев в византийской и вообще в европейской истории.

Возвращаясь к “детективному” направлению в рамках рецензируемой книги, отмечу, что его существенной частью являются статьи И.П. Медведева и Б.Л. Фонкича. Обе касаются архивных изысканий византиноведческого профиля, и обе вскрывают случаи предосудительного поведения достаточно известных ученых мужей. Медведев, концептуально (и, думается, справедливо), следуя за И. Шевченко в признании подложности пресловутой “Запиской готского топарха”, строит убедительную гипотезу о принадлежности авторства данного сочинения его первому издателю – Карлу Бенедикту Газе. Исследователь приводит две группы аргументов. Первая, и самая интересная, состоит из анализа некоторых писем Газе (личный фонд акад. Ф.И. Круга в С.-Петербургском филиале Архива РАН), где нет речи о “Записке”, как таковой, но зато немало данных о склонности Газе к “филологическим играм”, к “насыщению” знаменитого издания “Истории” Льва Дьякона иными неизданными и “анонимными” источниками, к “обогащению” примечаний к изданию Пселла, короче, к экспериментированию с византийской лексикологией и текстами (с. 166–168). Вторая группа аргументов касается огромного сходства мотивов, изобразительных средств и даже лексики “Записки” и скандальной для своего времени повести Вольтера “Кандид”. Статья завершается интригующим вопросом: не уподоблял ли себя Газе (решивший помещением “Записки” в примечания к Льву Дьякону “подшутить” над заказчиком издания Льва, канцлером Н.П. Румянцевым) Вольтеру, позволявшему себе фамильярничать с Екатериной II? (с. 171).

Б.Л. Фонкич поступает иначе: он просто обнаруживает, что Петербургская рукопись греч. 701 (часть Приложения к Большому синопсису Василия) из коллекции А.И. Пападопуло-Керамевса имеет кодикологические показатели, идентичные показателям Софийской рукописи D. gr. 253; мало того, по содержанию Петербургская рукопись непосредственно при-



мыкает к конкретной, легко устанавливаемой части Софийского манускрипта, заполняет своим листажом существующую между листами этого манускрипта лауну. Вывод: Пападопуло-Керамевс, описывавший одно время рукописи Козиницы, просто похитил четыре тетради (20–23) Софийской рукописи – тетради, превратившиеся в греч. 701 (с. 237).

Особое место среди материалов сборника занимают работы, посвященные тематике западноевропейского средневековья. И то сказать – Каждый видел Византию как явление, развивающееся в системе так или иначе взаимодействующих с ней обществ, особенности которых, если их рассматривать в сравнении, еще более обнаруживают богатство человеческого опыта, порождаемого каждой сословной группой конкретного социума. Вспомним хотя бы целый спектр соответствующих его работ: от рецензий на монографию Ф.Я. Полянского о цехах или на исследование Н.П. Соколова о венецианской державе до сравнений писательской манеры Роберта де Клари и Никиты Хониата или статьи “Латиняне и франки в Византии” (увидевшей свет уже после кончины ученого). Не будем забывать также и о том, что в 1943 г. Александр Петрович, переходя в аспирантуру к Е.А. Косминскому, всерьез намеревался посвятить себя изучению английской деревни и в первую очередь рецепции римского права в Англии (с. 490). Судьба распорядилась иначе.

А.И. Сидоров в изысканиях по поводу характера королевской власти у франков в VIII–IX вв. прежде всего сосредоточил внимание на понимании современниками “места роли короля в функционировании общественного организма”, на нюансах политического развития раннесредневековых западных обществ под влиянием определенных ментальных стереотипов (с. 323). Речь, разумеется, идет в первую очередь о последствиях представлений о сакральности королевской власти, “патримониальных свойств” раннесредневековой государственности, о специфической публичности власти монарха и т.п. Явления эти в разных своих сочетаниях и в различном контексте уже давно отмечались в литературе<sup>14</sup>. В российской медиевистике они отчасти освещались даже в историографических обзорах (см., например, анализ немецкой историографии развития королевской власти в эпоху Каролингов, проделанный А.В. Леонтьевским, и недавние историографические наблюдения С.Ф. Польской<sup>15</sup>), но Сидоров на каролингском материале придает им вид системы. И самое важное в его наблюдениях, по-моему, – это доказательство того, что в то время любое важное политическое решение являлось плодом “коллективных усилий короля и широких слоев социальной элиты”, а король в то время – такой же член корпорации, подчиняющийся правилам ее функционирования (пусть даже весьма архаичным), как любой другой человек.

С.Е. Александров посвящает свою работу “Германское наемничество конца XV – середины XVII в.” прежде всего публикации переводов уникальных источников, не затрагиваемых, как правило, даже в источниковедческих обзорах, выполняемых в российской германистике. Это уставная грамота оберста ландскнехтов, выполненная от имени Карла V в апреле 1554 г., образец вербовочного патента середины XVI в., реальный вербовочный патент марта 1610 г. от герцога Максимилиана для оберста Александра фон Хасланга и статейная грамота Максимилиана II, утвержденная Шпейерским рейхстагом 1570 г. – один из важнейших предков военных уставов нового времени, нормативный документ, юридически оформлявший внутрислужебные отношения в наемном войске. Александров метко подчеркивает историческую значимость статейной грамоты, сравнивая ее успешное функционирование с воздействием Каролины на нормы уголовного права империи, – повальное вытеснение местных,

<sup>14</sup> Самые известные примеры: *Bloch M. Les Rois thaumaturges*. P., 1983; *Le Goff J. La miracle royale // Actes du colloque de Paris pour le centenaire de la naissance de Marc Bloch*. P., 1986; *European Monarchy: Its Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times*. Stuttgart, 1992.

<sup>15</sup> См.: *Леонтьевский А.В.* Проблемы социально-политического развития Каролингского государства в освещении современной немецкой медиевистики // *Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма*. Памяти Д.М. Петрушевского и А.И. Неусыхина. М., 1995. С. 252–258; *Польская С.А.* Сакральность королевской власти во Франции середины VIII–XV вв.: церемониальный и символический аспекты проблемы. Автореф. канд. дис. Ставрополь, 1999. Вспомним также работу группы “Власть и общество”, возникшей в 1992 г. в рамках Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени и в том числе конференцию 1993 г. “Харизма королевской власти: мифы и реальность”.

локальных нормативных документов такого рода (с. 392), что сыграло не последнюю роль в укреплении боеспособности немецких войск в XVI в.

Вообще, надо сказать, раздел “Публикация” в рецензируемом сборнике хотя и представлен всего тремя вещами (в том числе – и работой Александрова), но каждая из них по форме резко отличается от двух других. Так, вводные изыскания к публикации перевода Александрова – по сути, микроисследование содержания и исторической значимости названных документов без каких-либо комментариев-примечаний. С.А. Иванов совершает републикацию Жития св. Лазаря Гелесиота, учитывающая московский извод источника и издание А. Ламбропулу (с. 354–363); публикация сопровождается превосходным переводом, имеющим, в свою очередь, текстуальные ссылки на различия в разных частях сочинения, присущие двум основным версиям жизнеописания – версии Григория, ученика Лазаря, и версии Григория Кипрского. П.И. Жаворонков (“Династия Ангелов в изображении Георгия Акрополита” – С. 364–385), после очень краткого введения, публикует перевод ряда начальных глав “Хронологического описания”, т.е. тех разделов сочинения, где Акрополитом использовались не только данные Никиты Хониата, но и сведения из не дошедших до нас источников. Текст перевода сопровождается обширным постраничным комментарием.

Каждый из принципов публикаций, предлагаемых авторами, имеет полное право на существование. Добавлю только, что Каждан тяготеет к системному сочетанию всех трех приемов, т.е. в конечном счете к критическому изданию, с пристальным вниманием прежде всего к текстуальным разночтениям рукописных традиций памятника<sup>16</sup>.

Конечно, не все нюансы творчества Каждана нашли отражение в сборнике. Многие из них явно претендуют на специальное изыскание, настолько в них переплетается индивидуальное развитие признанного специалиста и реалии интеллектуальной жизни его эпохи. Чего, например, стоит одна только тема, содержащаяся в сборнике в виде явственных намеков и указаний (с. 115, 497, 516), тема сотрудничества Александра Петровича и журнала “Новый мир”, т.е. работы, позволившей, по словам ученого, сформулировать ему для себя “то, что лишь тихо сидело внутри, – история есть существенный инструмент в понимании современности”. Или проблема развития взглядов Каждана на методологию истории, особенно ярко звучащая в его рецензиях и еще ярче в некоторых письмах. Для мало знающих Александра Петровича может, например, показаться откровением его органическое неприятие “излияния яда” на марксизм (и это в условиях относительного комфорта эмиграции). “И все-таки марксизм создал школу Annales – никуда от этого не уйти, и марксизм (как и гегельянство) побуждал к широкому видению прошлого” (из письма к М.С. Альперовичу от 24 июня 1994 г. – с. 449)<sup>17</sup>. Но все это, повторюсь, скорее поле работы для профессиональных “каждановедов”, нежели предмет даже подробной рецензии.

Не буду делать общей субъективной оценки по всем разделам и направлениям рассмотренного сборника, по сути она складывается из частных суждений, заявленных выше. Главное, что все эти направления по-разному, но тяготеют к наполнению сложнейшей системы, именуемой “мир Александра Каждана”. И еще одно. Важное достоинство книги заключается в том, что она, как неустанно делал это и Александр Каждан, учит воспринимать и осмысливать прошлое (и не только византийское), как относящееся непосредственно к нам сегодняшним, и в этом смысле может считаться по-настоящему своевременной книгой. Все сказанное

<sup>16</sup> Это заметно по его рецензиям на публикации текстов и переводов, см., например, разбор, в соавторстве с М.А. Заборовым, выхода в свет сюзюмовской “Книги епарха” (ВВ. 1952. Т. 5), анализ издания С. Кириакидисом “Взятия Фессалоники” Евстафия (ВВ. 1964. Т. 25), основательную оценку издания В. Кривошеиным и Ж. Парамелем огласительных проповедей Симеона Нового Богослова (ВВ. 1967. Т. 27) и др. Практически все рецензии подобного плана (см. библиографию, составленную М.А. Курышевой) демонстрируют указанное качество работы ученого.

<sup>17</sup> Ср. место из письма к Е.С. Померанцевой: «Я тоже начал печататься в Израиле, скоро выйдет моя статья в *Mediterranean Historical Review*, и знаешь о чем? О марксизме. Нет, конечно, не о марксизме en gros, но об одной книжке, написанной одним английским византинистом, который думает, что он марксист. Я никогда не подозревал – до недавнего времени, – как развито теоретическое словоблудие (...) на почве философии истории – все эти структуралисты и постструктуралисты, что “словечка в простоте не скажут”, особенно французы. Нет, я не против теории – но теория хороша, когда она служит лесами для построения здания, но если здание убирают и оставляют одни леса – это не про меня» (с. 475).

в ней – и в первую очередь сказанное самим Кажданом – так или иначе стоит под знаком радикальнейшей историзации сознания, происходящей в современном российском византиноведении, – такой, когда мы словно бы извлекаемся из истории, как протекала она до нас, однако само историческое, все уже бывшее и существовавшее, вписывается в наше окружение как нас касающееся и нам принадлежащее.

А.С. Козлов

**Арутюнова-Фиданян В.А. “Повесть о делах армянских” (VII в.): источник и время. М.: “Индрик”, 2004. 272 с.: ил.**

VII век считается этапной эпохой для истории Византии, временем крупномасштабных трансформаций, значительно изменивших как географическую конфигурацию, так и внутренний образ империи. Общепризнано, что одним из влиятельных факторов социального и культурного изменения Византии в ту эпоху явилось тесное взаимодействие с восточным христианским миром и в частности с Арменией.

Новое исследование В.А. Арутюновой-Фиданян, посвященное армяно-византийскому культурному и конфессиональному взаимодействию в судьбоносном VII в., строится как развернутый комментарий к “Повествованию о делах армянских” – уникальному источнику, написанному на среднегреческом языке анонимным армянским автором. “Повесть” представляет собой изложение церковной и политической истории Армении в IV–VII вв., причем, в центре внимания анонимного автора стоят все же церковные дела. Несмотря на свою лаконичность, источник содержит не только до сих пор по достоинству не оцененные фактические данные, но и, что немаловажно, позволяет взглянуть на историю армяно-византийских отношений того времени с точки зрения представителя армянской православной общины.

Вполне логична структура монографии. Первая часть представляет собой исследование самого памятника (предисловие, три главы и заключение). Вторая часть включает в себя греческий текст (воспроизведение критического текста Ж. Гаритта 1952 г. с его же добавлениями разночтений по сирийской рукописи<sup>1</sup>), русский перевод (первый в отечественной науке) и обширный комментарий, охватывающий широкий круг исторической, географической, топографической, лингвистической и богословской проблематики.

В первой главе “Источник и автор” исследуется само “Повесть”, его язык и содержание, а также анализируются общественно-политические и конфессиональные воззрения его анонимного автора (с. 17–59). Как показывает В.А. Арутюнова-Фиданян, “Повесть” отнюдь не являлось поздним переводом армянского прототипа на греческий, как это прежде считалось в науке, однако писалось изначально на греческом эллинизированном армянском. В качестве обоснования этого тезиса, приводятся многочисленные примеры буквального перевода на греческий понятий и выражений, которые были употребительны в армянском письменном языке того времени, но были чужды для нормативного греческого языка. Особенно убедительным выглядит указание на топонимы и антропонимы, передаваемые автором “Повествования” в их арменизированной форме (как, например, вместо греч. Ἰωάννης арм. Դովանյոն). Автор отмечает также высокую фонетическую точность передачи специфически армянских имен. По мнению автора, перечисленные факты могут знаменовать генезис некоего синтетного лингвистического феномена на территории армяно-византийской контактной зоны. Этот процесс культурной и лингвистической эллинизации был прерван при крушении контактной зоны под ударами арабов. Хотя этот феномен и исчез из жизни широких слоев населения, однако он, как предполагает автор, возможно, продолжил свое существование в кругу армяно-халкидонитской элиты (с. 19–27, 34, 135).

Автором “Повествования”, скорее всего, являлся православный клирик, для которого халкидонитство – единственная “правая вера”, Армянская церковь является частью Вселенской церкви, а Армения – частью Византийской империи. В.А. Арутюнова-Фиданян определяет “Повесть” как некое “пособие” для армян-халкидонитов, написанное их собратом по вере и, следовательно, как один из самых пространств текстов, дошедших до нас от армя-

<sup>1</sup> La narration de rebus Armeniae / Ed. critique et commentaire par G. Garitte. Louvain, 1952; Garitte G. Un nouveau manuscrit de la “Narratio de rebus Armeniae”. Le Sin. gr. 1699 // Le muséon. 1958. T. 71. P. 241–254.